

2011

# Surviving War and "History." Agency and Narratives of the Blockade of Leningrad

Jeffrey K. Hass

*University of Richmond*, [jhass@richmond.edu](mailto:jhass@richmond.edu)Follow this and additional works at: <http://scholarship.richmond.edu/socanth-faculty-publications>Part of the [History Commons](#)

## Recommended Citation

Hass, Jeffrey K. "Surviving War and 'History.' Agency and Narratives of the Blockade of Leningrad." In *Rossia. Vek Dvadsatyi*, edited by A. N. Chistikov, 105-22. St. Petersburg: Nestor-Istoriia and Academy of Sciences, 2011.

This Book Chapter is brought to you for free and open access by the Sociology and Anthropology at UR Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in Sociology and Anthropology Faculty Publications by an authorized administrator of UR Scholarship Repository. For more information, please contact [scholarshiprepository@richmond.edu](mailto:scholarshiprepository@richmond.edu).

Дж. Хасс

**ВЫЖИВАНИЕ В ГОДЫ ВОЙНЫ И «ИСТОРИЯ».  
ПРОБЛЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВЫБОРА  
И РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ВО ВРЕМЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЫ**

*Война и самостоятельность выбора: уроки Ленинградской блокады*

Кто или что творит историю? Этот вопрос не так наивен, как это может показаться. Во-первых, он затрагивает проблему самостоятельности выбора (агенсу) и детерминированности наших повседневных практик, воспроизводство структур и институтов. Ученые в области истории, социологии и политической науки (а также других дисциплин) делают свои предположения о том, насколько самостоятельны в своем выборе люди. Теоретики рационального выбора предполагают, что люди действуют свободно за исключением того, что все они подчиняются одному автоматическому правилу максимизации таинственного теоретического конструкта под названием «полезность»<sup>1</sup>. Другие ученые рассматривают исторические изменения и воспроизводство как результат существования институтов и структур: от материальных отношений и классовой динамики у К. Маркса до власти знания и дискурса у М. Фуко и до акцента на «солидарности» и социальной организации как источниках практик и общественного сознания у Э. Дюркгейма. М. Вебер, хотя и признавал самостоятельность выбора человека, в своей теории возникновения и функционирования современных институтов отдавал предпочтение масштабным историческим сдвигам крупных структур и институтов, в которых голос отдельного человека оставался неслышен. Наше понимание самостоятельности выбора и ее роли в процессе изменений определяет то, как мы объясняем социальные и политические проблемы и соответствующую политику. Здесь возникает второй важный вопрос данной статьи: как общество, находящееся в состоянии войны, справляется с мобилизацией ресурсов, необходимых для выживания и победы

---

<sup>1</sup> See Gary Becker. *A Treatise on the Family*. Cambridge: Harvard University Press, 1991. Более ранние подходы к объяснению истории с точки зрения «великой личности» также предполагали рациональный выбор: историю творят решения представителей элиты.

(или поражения). Война представляет собой критический момент исторического развития — тот, кто формирует войну и ее исход, формирует всю историю. Далее, серьезная война является отличной проверкой политической легитимности и социальных институтов, но на самом деле страдают, сражаются, умирают и побеждают *люди*. Те, кто идет в атаку, и те, кто сидит в обороне, — кто они? Только винтики в институциональной машине или самостоятельные индивиды? И важна ли самостоятельность выбора человека для победы или проигрыша в войне?

Советский эксперимент построения нового социалистического общества может пролить свет на эту проблему. Особенно интересной и информативной является история ленинградской блокады, позволяющей лучше понять природу СССР во Второй мировой войне, советское общество, проблему самостоятельности выбора и соответствующих социальных практик. Хотя советское общество не было полностью изолировано от современного европейского общества, оно представляло собой попытку создать альтернативную модель без частной собственности и капитализма, с доминированием коллективной классово-идентичности и солидарности. Одним из элементов этой модели был *хомо советикус* (*homo sovieticus*), героическая личность с коллективным сознанием, лишенная всяких спорных и противоречивых черт характера и интересов, которые существуют в современных капиталистических обществах. Вторая мировая война оказалась долгим и мучительным испытанием желания и способности советского общества противостоять агрессии, которая сопровождала последние стадии развития капитализма. Кроме того, война порождает сильнейшие социальные трения путем создания стимулов для эгоистического, оппортунистического поведения. В частности, угрозы, лишения, страдания могут привести к тому, что эгоистические, оппортунистические стратегии поведения станут казаться легитимными или, по меньшей мере, привлекательными. Хотя кооперация с другими людьми и жертвование собственными усилиями и материальных ресурсов — а может даже и жизни — в конечном счете побуждает к оптимальной мобилизации ресурсов на военные нужды, у отдельного человека может возникнуть опасение того, что другие члены общества могут предпочесть стратегию безбилетника или что в конечном итоге война все равно окончится поражением. Кроме того, в моменты чрезвычайно тяжелых напряжения и опасности, желание спасти свою собственную жизнь может заблокировать любое внимание к интересам других людей. Лишения и ограничения военного времени порождают стимулы к оппортунистическому поведению: например, к получению доступа к дефицитным товарам, в которых отчаянно нуждаются другие люди, и в конечном итоге могут формировать то самое оппортунистическое поведение, которое предсказывает экономическая теория.

Жизнь в Советском Союзе во время Второй мировой войны и ленинградская блокада предоставляют возможности проверки целого ряда важных проблем: конкуренции эгоистов, инструментальной рациональности и коллективной рациональности, нормативной рациональности (оппортунизма и кооперации), конфликта индивидуального и коллективного самосознания в моменты чрезвычайных ситуаций, а также способности современных государств и обществ формировать отдельного человека и способности последнего сопротивляться этому и отстаивать свои собственные идентичность и интересы. По-настоящему глубокий обзор литературы по данной теме значительно превышает возможности данной статьи, мы представим здесь краткий очерк истории развития идей для трех основных парадигм. Здесь нужно сразу сделать предупреждение, что любая подобная систематизация требует определенного упрощения чрезвычайно богатого содержания теоретических и эмпирических работ, и целью автора является не чрезмерное упрощение цитируемых авторов, а скорее выявление общих тенденций, что, как хочется надеяться, поможет лучше осмыслить развитие науки. Три основные тенденции, о которых идет речь, можно обозначить как парадигма героизма (*heroismnarrative*), парадигма оппортунизма (*opportunismnarrative*) и парадигма нерешительности (*ambivalencenarrative*). *Парадигма героизма* предполагает индивидуальное принятие решений на основе коллективных норм. *Парадигма оппортунизма* предполагает индивидуальное принятие решений на основе рационального эгоизма и материальной выгоды (или потери). *Парадигма нерешительности* отводит индивидуальному выбору наименьшую роль; люди практически не решают ничего самостоятельно и их вклад в развитие истории невелик. В первых двух парадигмах человек действительно вершит историю, упорно следуя нормам или своим эгоистическим интересам; в последней парадигме история вершит человека. Заметим, что указанные парадигмы представляют только идеальные случаи, реальность же более сложна. В истории ленинградской блокады, например, чужие люди действительно помогали друг другу, и мы можем обнаружить немало таких эпизодов героизма и альтруизма. Но при этом даже члены одной семьи могли удовлетворять свои личные потребности, пренебрегая потребностями друг друга. Один из ключевых вопросов заключается в том, какая именно парадигма представляет наиболее точный взгляд на историю.

### *Парадигма героизма и героический Ленинград*

Первой интерпретацией роли человека в обществе является *парадигма героизма* (которая отражается в распространенных выражениях «героический Ленинград», «героические защитники Ленинграда» и др.). Со-

гласно данной парадигме, такие исторические события, как победа СССР в Великой Отечественной войне или выживание в годы ленинградской блокады, являются следствием независимых усилий отдельных людей, сражающихся против могущественного противника при относительно низких шансах на победу<sup>1</sup>. По самой своей природе парадигма героизма предполагает наличие самостоятельности выбора, так как в противном случае слава победы должна достаться каким-то другим силам, а не человеку. Далее, героями движут не материальные интересы, а нормы, которые ставят святое выше повседневного и банального. В целом, согласно концепции героизма, исторический процесс приводится в движение отдельными людьми, следующими определенным нормам. До тех пор, пока преследуемые нормы не противоречат идеологии режима, парадигма героизма усиливает политическую легитимность: режим и его идеология отражают самое сильное и лучшее, что есть в природе человека. Неудивительно, что одной из распространенных тем в официальной пропаганде 1930-х гг. и Великой Отечественной войне была парадигма героизма: обычные советские люди преодолевают сопротивление природы и человеческих слабостей для выполнения целевых показателей Госплана; советские исследователи и ученые осваивают неизвестные области физики и техники и, разумеется, советские солдаты, партизаны и граждане демонстрируют чудеса героизма усилием коллективной воли<sup>2</sup>. Но здесь парадигма героизма, предполагая самостоятельность выбора в рамках норм, приводит нас к парадоксу: героические усилия следуют за просвещенной идеологией и героическими элитами. Кроме того, героизм советских масс предполагал индивидуальную самостоятельность выбора, но при этом советское государство и коммунистическая партия не могли поощрять идею свободы выбора из опасения, что это приведет к народным попыткам организовать с целью политических или общественных изменений — угроза повторения восстания декабристов<sup>3</sup>. В целом, парадигма героизма предполагает, что и подъем, и крах СССР был связан с героическими усилиями отдельных людей — сначала реализация советской мечты о революции, затем защиты родной страны

<sup>1</sup> *Joseph Campbell. The Hero with a Thousand Faces. Princeton: Princeton University Press, 1968.*

<sup>2</sup> По-видимому, парадигма героизма возвращается в преподавание истории, насколько можно судить по предложенному учебнику для школьников: *Филиппов А.В., Уткин А.И., Алексеев С.В. и др. История России. 1945–2008 гг.: кн. для учителя. М.: Просвещение, 2008.*

<sup>3</sup> Западные ученые в меньшей степени придерживались парадигмы героизма, хотя некоторые представители ревизионизма следовали ей.

в Великой Отечественной войне и, в конечном счете, протеста против системы в последнее десятилетие ее существования.

Первоначальная пропаганда и освещение блокады в СМИ подчеркивало идею героизма. Эти образы хорошо известны: фабричные рабочие мужественно преодолевают холод, голод и немецкие бомбардировки для выполнения производственной задачи; милиция и граждане помогают раненым на улицах; профессора и студенты продолжают занятия несмотря на чрезвычайную ситуацию. Историческая наука советского времени была вынуждена формировать парадигму героизма, но нельзя сводить всю работу советских историков только к одной пропаганде. Некоторые из материалов, выпущенных в начале 1960-х гг., на заре хрущевской оттепели, открыли обществу правду о массовых страданиях и смертях, добавив новые штрихи к картине «героизма»<sup>1</sup>. Теперь героем был не только человек, который бросил вызов страданиям и сражался с немцами; теперь героем был также и ленинградец, который выжил несмотря на нечеловеческие условия, сохранив при этом свое человеческое лицо. В брежневскую эпоху этот героический образ был восстановлен, хотя выживших в блокаду ленинградцев этим было трудно удивить, и некоторые из них жаловались на некоторую вольность, с которой партия трактовала историю<sup>2</sup>. Но понимание героического подвига Ленинграда и подразумеваемая им важная роль самостоятельного человеческого выбора могли бы выжить и без нажима партии. Например, парадигма героизма проходит через всю «Блокадную книгу» А. Адамовича и Д. Гранина<sup>3</sup>, которые не побоялись показать весь ужас блокады. Более того, после распада СССР, когда многие идеологические штампы были развеяны, в их картине героизма блокадников все осталось как есть. Образ блокады в пропаганде не был выдумкой, хотя и был несколько односторонним. Остается вопрос, насколько эта характеристика блокады перекрывает все остальные.

### *Парадигма оппортунизма и оппортунистический Ленинград*

Вторым вариантом интерпретации является парадигма оппортунизма («оппортунистический Ленинград»). Как и в случае с парадигмой героизма самостоятельность выбора играет здесь важное значение с тем

<sup>1</sup> См.: Календарова В. Формируя память: блокада в ленинградских газетах и документальном кино в послевоенные десятилетия // Память о блокаде. Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества. М., 2006. С. 290–291.

<sup>2</sup> См., например: ЦГАЛИ СПб. Ф. 107. Оп. 3. Д. 336. Л. 17–18; Д. 337. Л. 22–27; Д. 347. Л. 28–33.

<sup>3</sup> Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. М., 1982.

единственным исключением, что нормы теперь менее значимы, чем материальные интересы и оппортунистический расчет. (В действительности, нормы здесь являются неформальным вариантом правил и законов, оказывающих тот же эффект: люди действуют в соответствии с нормами, если анализ затрат и выгод показывает выгодность этого, и в противном случае просто игнорируют нормы.) Обычная экономическая теория в явном виде предполагает инструментально-рациональное поведение, хотя некоторые историки аналогично предполагают, что инструментальная рациональность и самостоятельность выбора формируют исторический процесс. Некоторые западные ученые в явном или неявном виде придерживаются парадигмы оппортунизма, особенно в исследованиях советской экономики или экономической истории<sup>1</sup>. Поздние работы ревизионистов (например, Ш. Фицпатрик, Л. Виола и др.) отражали аналогичные взгляды. В целом можно сказать, что Советский Союз возник тогда, когда элиты и неэлиты, ведомые материальными интересами, бросили вызов царской власти; он был построен, когда элиты (иногда конфликтуя друг с другом) задействовали материальное вознаграждение и наказание для обычных советских граждан для формирования нового общества, и распался, когда институты не смогли больше сдерживать оппортунизм и коррупцию<sup>2</sup>.

Советская наука не могла открыто использовать парадигму оппортунизма, поскольку это означало бы открытое отрицание эффективности идеологии и идеологических призывов; предполагалось, что хомо советикус подчиняется советским нормам. В действительности концепция оппортунистического Ленинграда могла быть озвучена только после падения СССР и его пропагандистской машины. И страдание, и оппортунизм, вызванные войной и блокадой, разбудили худшие стороны человеческой природы: оппортунизм, уже не обремененный ни моралью, ни силой институтов. По свидетельству Б. Михайлова, ленинградцы демонстрировали гораздо меньший героизм, чем это часто предполагается пропагандой и воспоминаниями<sup>3</sup>. Власти использовали голод для того, чтобы отсеять слабых или несогласных ленинградцев. Средний ленинградец также использовал различные способы введения в заблуждение для выживания или даже получения выгоды за счет других. Хотя свидетельство Михайлова

---

<sup>1</sup>Joseph Berlinmer. *Factory and Manager in the USSR*. Cambridge: Harvard University Press, 1957; Stephen Kotkin. *Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization*. Berkeley: University of California Press, 1995.

<sup>2</sup>Steven Solnick. *Stealing the State: Control and Collapse in Soviet Institutions*. Cambridge: Harvard University Press, 1998.

<sup>3</sup>Михайлов Б. На дне блокады и войны. СПб., 2000.

является личным комментарием критически настроенного человека, парадигма оппортунизма проявляется в различных формах и в научных работах. Например, публикации Н. Ломагина о блокаде обнаруживают оппортунистическое поведение, которое вовсе не было единичным случаем. Распространены были случаи, когда отчаявшимися людьми организовывались группы, которые захватывали каким-либо образом доступ к продуктам питания или другим ресурсам и потом использовали их для собственного потребления или для спекулятивной торговли и даже получения прибыли<sup>1</sup>. Организованные бандитские группы совершали набеги на хлебные магазины; партийные руководители и бюрократы злоупотребляли своей властью для улучшения своих собственных пайков или распределения продуктов питания или других товаров в свою пользу и в пользу своих друзей. В самом худшем случае руководители и бюрократы совершенно официально хранили и распределяли ранее украденные продукты (например, списанные как испорченные или потерянные), в том числе продавая их на черном рынке или через какие-либо неформальные сети. Хотя существование оппортунизма вовсе не противоречит одновременному существованию героизма, масштаб и контекст оппортунистического поведения является важным вопросом, поскольку это предполагает, что самостоятельность выбора является функцией от контекстуальных ограничений и стимулов, но эти нормы являются значительно менее сильными, даже несмотря на исключительно высокую степень несчастий и страданий блокадного времени.

### *Парадигма нерешительности и неопределенный Ленинград*

Третья интерпретация происходящего может быть названа парадигмой нерешительности («неопределенный Ленинград»)<sup>2</sup>. В данном случае мы имеем уже не тех людей, которые следуют нормам или личным интересам и таким образом движут историей (Советского Союза, войны и всего человечества), а людей, которые сталкиваются с требованиями и обстановкой, которые чрезвычайно сложны, неопределенны, неоднозначны и слишком трудны для самостоятельного выбора... Например, Э. Бауман утверждает, что современный мир в конечном счете является слишком сложным для контроля, порождая ощущение неоднозначности

<sup>1</sup> См.: *Ломагин Н.* В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах германских спецслужб и НКВД. СПб., 2001; *Он же.* Неизвестная блокада. М., 2002.

<sup>2</sup> Мы могли бы назвать это «парадигмой аномии», чтобы подчеркнуть аномию или отсутствие моральных принципов. Однако «нерешительность» представляется более нейтральным термином.



среди современных людей<sup>1</sup>. Самостоятельность выбора теряется, потому что люди не могут или не хотят действовать самостоятельно; основания их знания настолько неопределенны, что выработка разумной тактики становится невозможной. Историю вершат структуры и институты, а не люди: эти структуры и институты приводят в движение массы людей через различные формы контроля и стимулов, которые нужны людям для обретения хоть какой-то определенности. Победа в войне является результатом удачного поворота в отдельных сражениях или просто большей жизнеспособности одного из противников. Советская наука не могла принять парадигму нерешительности, поскольку это поставило бы под вопрос героическую традицию, которая помогала создать легитимность коммунистической партии и всей советской системы. Западные исследователи СССР, войны и истории с трудом разбирались с разнообразными теориями решительности отчасти потому, что это угрожало концепции самостоятельно действующего человека. Однако исследователи эпохи постмодерна легитимизировали парадигму нерешительности отчасти путем использования идеи о том, что знание и идеологии являются лишь инструментом власти — и это использование власти не всегда является осознанной тактикой (тема, на которую намекает М. Фуко). Далее, исследования СССР в духе старой тоталитарной школы, по-видимому, содержали идею нерешительности: советы подверглись манипулированию и подавлению со стороны пропаганды и НКВД, попав в итоге под полную власть партии. Все это поднимает вопрос о том, как СССР мог выдержать борьбу с нацистской Германией, если мы не предполагаем, что сильная партия-государство заставила «маленьких людей» как винтиков в машине мобилизоваться для победы в полномасштабной войне.

«Нерешительный Ленинград» указывает на важный аспект блокадной жизни: ленинградцы не пытались активно формировать свою судьбу, чтобы справиться с тем вызовом, который бросила им история, т.е. бомбежки и голод, ниспосланные им бюрократическими организациями (в данном случае вермахтом и Красной Армией). Подобный подход мы встречали в работе С. Ярова<sup>2</sup>. Сильный голод сокращает значимость норм до нуля, и люди превращаются в эгоистичных индивидов с очень коротким горизонтом принятия решений. Если это так, то в подобных действиях меньше инструментальной или тактической рациональности, характерной оппортунистическому самостоятельному выбору, чем

<sup>1</sup> Zygmunt Bauman. *Modernity and Ambivalence*. London: Polity, 1993.

<sup>2</sup> Яров С.В. Ленинградцы в «смертное время»: предпосылки изменения нравственных ценностей // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Серия: история. 2008. №4. С. 23–46.

обыкновенного животного инстинкта выживания<sup>1</sup>. Нерешительность довольно очевидно проявлялась в том, как ленинградцы молча проходили мимо мертвых на улицах и избегали тех, кто падал рядом с ними, или взрослые заботились больше о своих жизнях, чем о жизнях своих детей, или в отчаянных драках за скудный паек. На первый взгляд, это поведение можно назвать оппортунистическим — например, избегание тех, кто упал на улице, для сохранения своих сил, — но оппортунизм означает осознанный расчет средств и целей. Подобно Сорокину, Яров демонстрирует, что подобная тактика была гораздо в меньшей степени расчетом, чем автоматической реакцией. В отчаянной ситуации самостоятельность выбора улетучивается. Неопределенный Ленинград пережил блокаду, потому что достаточное количество людей выжило в этих трагических событиях; это был вопрос количественного соотношения сил (неспособность немцев уморить Ленинград голодом и способность советских властей обеспечить город продовольствием в такой степени, чтобы предотвратить полное вымирание), а также везения.

*Осмысляя блокаду, войну и историю: из дневника Ольги Эпштейн*

Итак, мы имеем три парадигмы и три взгляда на блокаду (и в целом на советскую систему и самостоятельность выбора в истории). Является ли одна из этих парадигм более верной, или же все три переплетаются каким-либо образом в объяснении исторического процесса?<sup>2</sup> Это непростой вопрос. Просто сказать, что там было и страдание, и нерешительность, и героизм, значит не сказать практически ничего о природе самостоятельного выбора и его роли в истории. Например, если верна парадигма героизма, тогда нерешительность происходит от сбоя в системе морали; если более точна парадигма нерешительности, тогда нерешительность является нормальным состоянием природы, а героизм является исключительным случаем или выражением случайного проявления самостоятельного выбора. Некоторый свет на блокаду проливает новаторская работа В.М. Ковальчука<sup>3</sup>. Даже в советский период, когда

---

<sup>1</sup> *Pitirim Sorokin*. *Hunger as a Factor in Human Affairs*. Gainesville: University of Florida Press, 1975.

<sup>2</sup> Заметим, что этот вопрос не означает необходимость следования какой-либо одной парадигме. Мишель Фуко предостерегал нас от попыток объяснить весь исторический процесс через какую-либо одну парадигму. Однако мы можем пытаться выделять некоторые общие тенденции.

<sup>3</sup> *Оборона Ленинграда. 1941–1944. Воспоминания и дневники участников* / Сост. В.М. Ковальчук, В.В. Петраш, А.М. Самсонов. Л., 1968; *Ковальчук В.М. Ленинград и Большая Земля*. Л., 1975.

коммунистическая пропаганда действовала на полную катушку, его исследование давало важную информацию и понимание, не отравленные идеологическими требованиями отразить доминирующую роль партии. Другие полезные работы о блокаде также появились в советское время: например, исследования количества погибших, публикация фрагментов воспоминаний и дневников, проливающих свет на реалии за пределами официальной пропаганды, включая как страдание, так и героизм<sup>1</sup>. После падения коммунизма и относительного снятия преград для исследования архивов, стала вырисовываться более сложная картина тех лет. Теперь мы знаем больше о тактике выживания рабочих, самосознании женщин, всеобщей мобилизации, сложной природе государственной власти, демографических сдвигах, а также создании послевоенных интерпретаций блокады и войны<sup>2</sup>. Исследователи Санкт-Петербургского института истории Российской Академии наук опубликовали дневники и другие материалы из архивов<sup>3</sup>.

Однако и на основании этих источников нельзя сделать вывод об однозначном доминировании одной из парадигм. Отчасти это является естественным для узкого исследования — например, изучение поведения на рабочем месте или в области распределения ресурса, — которое не может дать полную картину происходящего. В оставшейся части этого очерка я попытаюсь осуществить скромную попытку ответить на этот вопрос на основании детального изучения одного из источников — воспоминаний Ольги Эпштейн<sup>4</sup>. Ее дневник представляет для нас ценность по нескольким причинам. Во-первых, Эпштейн не принадлежала к элите или партийным функционерам; она не стала бы оправдывать

<sup>1</sup> Павлов Д.В. Ленинград в блокаде. М., 1958; Соболев Г.Л. Ученые Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945. М.; Л., 1966; Очерки истории Ленинграда. Т. 5. Л., 1967; Кулагин Г. Дневник и память. Л., 1978.

<sup>2</sup> Richard Bidlack. Survival Strategies in Leningrad during the First Year of the Soviet-German War, in Robert Thurston and Bernd Bonwetsch (eds.), *The People's War: Responses to World War II in the Soviet Union*. Urbana: University of Illinois Press, 2000. P. 84–107; Cynthia Simmons, Nina Perlina. *Writing the Siege of Leningrad. Women's Diaries, Memoirs, and Documentary Prose*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2002; Дзенискевич А.Р. Фронт у заводских стен. СПб., 1998; Ломагин Н.А. Неизвестная блокада. СПб., 2002; Ломагин Н.А. Ленинград в блокаде. М.: Яуза, 2005; Женщина и война. О роли женщин в обороне Ленинграда. СПб., 2006. С. 235–244; Lisa Kirschenbaum. *Legacy of the Siege of Leningrad, 1941–1995*. New York: Cambridge University Press, 2006.

<sup>3</sup> Человек в блокаде. Новые свидетельства. СПб., 2008; «Доживём ли мы до тишины?»: Записки из блокадного Ленинграда. СПб., 2009; «Я не сдамся до последнего...»: Записки из блокадного Ленинграда. СПб., 2010.

<sup>4</sup> Д.А. Гранин использовал этот дневник в «Блокадной книге». Дневник хранится в ЦГАЛИ СПб.

действия властей так, как это делают партийные функционеры и бюрократы. Во-вторых, Эпштейн представляет собой сочетание нескольких социальных категорий: гендер (женщина, жена, мать), класс (квалифицированный рабочий), статус (член партии) и национальность (еврейка). В-третьих, мнение Эпштейн обнаруживает физическое желание выжить, беспокойство о справедливости, а также желание получить награду за затраченные усилия — все это ложится в три наши парадигмы. В конечном счете, история Эпштейн не подтверждает доминирования одной из парадигм, но позволяет лучше понять, как действуют героизм, оппортунизм и нерешительность. Одно из наглядных наблюдений здесь заключается в том, что героизм и оппортунизм настолько часто имеют место, что нам не нужно недооценивать степень самостоятельности выбора даже в таких условиях, как блокада. Героизм означал переживание беспрецедентных трудностей, никак не связанных с личными нуждами или выгодами; и героизм явно присутствовал даже хотя бы на уровне ежедневного выживания, для того чтобы накормить своего ребенка. Однако на том же самом уровне можно обнаружить и оппортунизм. Героизм и оппортунизм невозможно отделить друг от друга; они предполагают друг друга.

В воспоминаниях Эпштейн определение «героизма» вытекает из явных указаний на то, чем он не является. Временами Эпштейн связывает героизм с чувством вины по поводу его отсутствия или через его противопоставление «обывательскому» поведению. В самом начале войны она не хотела, чтобы ее муж Миша шел добровольцем в Красную Армию, поскольку это подвергало слишком большому риску его самого и ее как жену. Только ее осознание себя как члена коммунистической партии изменило ее мнение по данному поводу. Ее идеальный образ Миши и героического включал несколько компонентов: личность как нечто вторичное по отношению к коллективу; защитную (не оппортунистическую) реакцию на угрозы и роль мужчин как активных защитников. Поведение начальников Эпштейн сделало это убеждение еще более ярким: «Конечно, мне как члену партии не следовало б так рассуждать [т.е. ругаться на него]. Я, наоборот, должна была бы его уговорить идти на фронт, но я почему-то была уверена, что все начальство, которое так пламенно выступает на митингах и первыми записались добровольцами, останутся на местах, а вот такие как Миша пойдут на фронт»<sup>1</sup>. Это дает скорее негативный стереотип, чем позитивный идеал, и ставит вопрос о парадигмах и самостоятельности в истории: несмотря на то что выбор между уходом на фронт и пребыванием в тылу был одним из элемен-

<sup>1</sup> ЦГАЛИ СПб. Ф. 107. Оп. 3. Д. 324. Л. 10.

тов самостоятельного поведения, те, кто ушел добровольцем в армию, сражались со своими базовыми инстинктами, а те, кто остался в тылу, оказались рабами базовых оппортунистических инстинктов. Определяя героическое, Эпштейн выражала парадигму оппортунизма<sup>1</sup>.

Эпштейн работала на фабрике, которая производила вооружение, и боролась за получение продуктов питания и крова для себя, своего сына Эдика и своей сестры Ньюры. В воспоминаниях Эпштейн было удивительным то, что она не ставила под вопрос свои обязанности как матери, работника и гражданина. Она была занята на чудовищно тяжелой работе по сборке винтовок, но при этом жаловалась в основном на детали низкого качества, ленивых коллег и капризных начальников. История трудностей блокады состояла не из структур и институтов, она состояла из конкретных людей, будь они злыми немцами, некомпетентными бюрократами, оппортунистическими директорами столовых или бессовестными начальниками. В феврале 1942 г. Эпштейн и другие работницы с ее фабрики получили задание помыть пол — чудовищное задание с учетом того, как мало времени уделялось уборке на протяжении нескольких предыдущих месяцев, — и, разумеется, мужчины-руководители не потрудились принять в этом участие<sup>2</sup>. В 1942 г. Эпштейн жаловалась: «У нас на заводе на людей никакого внимания не обращают, особенно на женщин. Работай за двоих, за троих, а... талоны будут начальники получать»<sup>3</sup>. Она жаловалась руководителю своей партийной ячейки на то, как хорошо чувствуют себя начальники в то время, когда рабочие едят только низкокачественные продукты питания. Она пыталась выбить дополнительные карточки у руководителя партийной ячейки<sup>4</sup>. Критически отзывалась о своих партийных начальниках: «...Я буду выбиваться из последних сил, голодая, а парторг наш ходит сытая и будет хвастаться, что у нее все хорошо»<sup>5</sup>.

Согласно наблюдениям Эпштейн, даже женщины обладали самостоятельностью в своем выборе; более того, этот выбор был их основной проблемой. По мере ухудшения уровня жизни Эпштейн задумывалась о самоубийстве — один из способов ухода от страдания, — но ее обязанности как матери не позволили бы ей это сделать, так как ее сын Эдик полностью от нее зависел<sup>6</sup>. Советская система предоставляла детский сад работающим

<sup>1</sup> См. также: Дневник Нины Кобызевой (РДФ ГММОБЛ. Акт 76–07. Т. 1–3); Черкизов В.Ф. Дневник блокадного времени. СПб., 2004.

<sup>2</sup> ЦГАЛИ СПб. Ф. 107. Оп. 3. Д. 323. Л. 71.

<sup>3</sup> Там же. Д. 324. Л. 39.

<sup>4</sup> Там же. Д. 323. Л. 18, 22; Д. 324. Л. 31, 33, 40, 46.

<sup>5</sup> Там же. Д. 324. Л. 33.

<sup>6</sup> Там же. Д. 323. Л. 42.

тов самостоятельного поведения, те, кто ушел добровольцем в армию, сражались со своими базовыми инстинктами, а те, кто остался в тылу, оказались рабами базовых оппортунистических инстинктов. Определяя героическое, Эпштейн выражала парадигму оппортунизма<sup>1</sup>.

Эпштейн работала на фабрике, которая производила вооружение, и боролась за получение продуктов питания и крова для себя, своего сына Эдика и своей сестры Ньюры. В воспоминаниях Эпштейн было удивительным то, что она не ставила под вопрос свои обязанности как матери, работника и гражданина. Она была занята на чудовищно тяжелой работе по сборке винтовок, но при этом жаловалась в основном на детали низкого качества, ленивых коллег и капризных начальников. История трудностей блокады состояла не из структур и институтов, она состояла из конкретных людей, будь они злыми немцами, некомпетентными бюрократами, оппортунистическими директорами столовых или бессовестными начальниками. В феврале 1942 г. Эпштейн и другие работницы с ее фабрики получили задание помыть пол — чудовищное задание с учетом того, как мало времени уделялось уборке на протяжении нескольких предыдущих месяцев, — и, разумеется, мужчины-руководители не потрудились принять в этом участие<sup>2</sup>. В 1942 г. Эпштейн жаловалась: «У нас на заводе на людей никакого внимания не обращают, особенно на женщин. Работай за двоих, за троих, а... талоны будут начальники получать»<sup>3</sup>. Она жаловалась руководителю своей партийной ячейки на то, как хорошо чувствуют себя начальники в то время, когда рабочие едят только низкокачественные продукты питания. Она пыталась выбить дополнительные карточки у руководителя партийной ячейки<sup>4</sup>. Критически отзывалась о своих партийных начальниках: «...Я буду выбиваться из последних сил, голодая, а парторг наш ходит сытая и будет хвастаться, что у нее все хорошо»<sup>5</sup>.

Согласно наблюдениям Эпштейн, даже женщины обладали самостоятельностью в своем выборе; более того, этот выбор был их основной проблемой. По мере ухудшения уровня жизни Эпштейн задумывалась о самоубийстве — один из способов ухода от страдания, — но ее обязанности как матери не позволили бы ей это сделать, так как ее сын Эдик полностью от нее зависел<sup>6</sup>. Советская система предоставляла детский сад работающим

<sup>1</sup> См. также: Дневник Нины Кобызевой (РДФ ГММОБЛ. Акт 76–07. Т. 1–3); Черкизов В.Ф. Дневник блокадного времени. СПб., 2004.

<sup>2</sup> ЦГАЛИ СПб. Ф. 107. Оп. 3. Д. 323. Л. 71.

<sup>3</sup> Там же. Д. 324. Л. 39.

<sup>4</sup> Там же. Д. 323. Л. 18, 22; Д. 324. Л. 31, 33, 40, 46.

<sup>5</sup> Там же. Д. 324. Л. 33.

<sup>6</sup> Там же. Д. 323. Л. 42.

справедливость в целом не была характерна для блокады: «... этих жуликов и расхитителей надо было всех засадить, но теперь время другое. Каждый честный гражданин теперь ни с чем не считается. Чтобы спасти свою жизнь, готов сделать всякие преступления»<sup>1</sup>. Ее сестра Нюра украла как-то яйцо со стола родственников, что могло привести к их изгнанию из этой квартиры, но ее поступок был аргументирован через несправедливость («Они жрут, а я должна смотреть»)<sup>2</sup>. Пытаясь найти надежный кров и возможность зарабатывать на хлеб, она видела начальников, которые практически никогда не отказывались от своих привилегий, некомпетентных бюрократов в коммунистической партии, которые ей никак не помогали (хотя она была партийным активистом), и коррумпированных работников магазинов, вовлеченных в нелегальные обмены. Оппортунизм можно было наблюдать и тогда, когда Эпштейн переехала на новое место жительства к Эмме вместе со своей племянницей Ниной и младшей дочерью Нины Асей. (Отношения Эпштейн с этими женщинами не до конца понятны; было ли это больше родством или дружбой.) В конечном счете Эпштейн высказывала довольно негативную оценку Эммы и Нины, потому что они не работали и вели себя оппортунистически. Эмма не работала, а сдавала свое помещение Эпштейн и ее сестре Нюре в обмен на талоны, помощь в домашней работе и т.п. Эмма, будучи главной в доме, рассматривала любое взаимодействие как разновидность сделки, а по отношению к обмену с Эпштейн употребляла слово «долг»<sup>3</sup>. Эпштейн была весьма критично настроена по отношению к Нине за ее бездеятельность и беспомощность. Нина думала только о еде, а не о своей дочери, которая постоянно плакала<sup>4</sup>. На протяжении первых недель, когда Эпштейн переехала к Эмме, она еще не могла найти детский сад для Эдика. Эмма присматривала за Эдиком в обмен на продукты питания, но однажды Эпштейн пришла домой и обнаружила Эдика в ужасающе грязном состоянии<sup>5</sup>. Интересно, что Эпштейн сама довольно редко проявляла оппортунистическое поведение за исключением отношений с родственниками мужа. Однажды Эпштейн сознательно использовала тактику инструментальной рациональности, присматривая за квартирой деверя по имени Муля, когда он и его семья были эвакуированы. Для этого ей нужно было иметь формальную регистрацию в этой квартире, и когда Муля и его семья вернулись в Ленинград после 1945 г., они уже не могли легальным образом ее выселить. Муле пришлось пойти на уступки

<sup>1</sup> ЦГАЛИ СПб. Ф. 107. Оп. 3. Д. 323. Л. 64.

<sup>2</sup> Там же. Л. 65.

<sup>3</sup> Там же. Л. 70, 75, 76, 78, 80, 81, 85.

<sup>4</sup> Там же. Л. 78.

<sup>5</sup> Там же. Л. 70–80.

требованию Эпштейн найти для нее отдельное жилье. Но из описаний Эпштейн очевидно, что этот оппортунизм базировался не на желании получить выгоду, а на желании отомстить<sup>1</sup>.

Как видно, героизм и оппортунизм являются двумя сторонами одной медали: у людей есть самостоятельность выбора даже в самых худших ситуациях, но они не являются автоматически героями или оппортунистами. Оппортунизм самой Эпштейн был в той же степени мстью, что и стремлением к выгоде. Однако ее воспоминания демонстрируют и неопределенность, что дает нам повод для еще одного интересного замечания. Нерешительность не является автоматическим состоянием внешнего мира, а скорее результатом сбоя героизма или оппортунизма, когда человек оказывается перегружен давлением различных обстоятельств — это перекликается с интерпретацией С.В. Ярова. Воспоминания Эпштейн обнаруживают циклическое движение от нерешительности и беспомощности к сильным чувствам справедливости и того, что человек сам отвечает за свои поступки. По мере того как в сентябре 1941 г. паек ленинградцев становился все меньше и меньше, а бомбежки города уже начались, Эпштейн пыталась лихорадочно совместить работу и заботу о выживании своего сына, ее посещало отчаяние: «Если он (Миша. — Д.Х.) бы только видел, сколько переживаю трудностей, он бы быстрее нашел выход. С ним было бы мне легче»<sup>2</sup>. Поскольку работа продолжалась допоздна без каких-либо выходных, она буквально не видела Эдика целыми неделями: его семьей были детсадовские работники, и Эпштейн постоянно терзало чувство вины по этому поводу. Она часто писала в своем дневнике, как она скучает по сыну, беспокоится о его здоровье, испытывает угрызения совести от того, что не находится с ним рядом (особенно в его день рождения)<sup>3</sup>. В июле 1942 г., когда Эпштейн пришла в детский сад, она обнаружила Эдика ужасно худым. «Я взяла свой скелет на руки и пошла домой» — было записано в ее дневнике в тот день. Она испытывала мучительное чувство вины<sup>4</sup>. Эпштейн взяла десятидневный отгул, чтобы хоть как-то вернуть сына к жизни, но потом ей вновь пришлось отдать его в детский сад, чтобы она смогла ходить на работу. Она размышляла: «Почему я, мать, не имею возможности находиться со своим ребенком? С ним должны почему-то чужие люди находиться. Опять, Оля, ты одна как волк, а ведь за эти 10 дней я совсем другой была, у меня была забота»<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Данная история подробно отражена в четвертом томе. (См.: ЦГАЛИ СПб. Ф. 107. Оп. 3. Д. 326).

<sup>2</sup> Там же. Д. 323. Л. 33.

<sup>3</sup> См., например: Там же. Д. 324. Л. 6, 27–28.

<sup>4</sup> Там же. Л. 10.

<sup>5</sup> Там же. Л. 14.



Ранее Эпштейн могла использовать конкурирующие требования работы и дома как инструмент переговоров. Несколько раз она говорила своим начальникам, что ей нужно время для того, чтобы позаботиться о своем ребенке, и что если ей не дадут такого времени, она может совсем уйти с работы. Отчаянно стремясь не потерять хорошего работника, ее начальники давали ей это время и даже сами писали различные прошения местным властям по ее поводу, например, для получения места в детском саду для Эдика, или пытались найти для нее жилье поближе к заводу<sup>1</sup>. Таким образом, чувство вины, возникающее из-за нерешительности, могло в конечном счете подстегивать определенные действия, особенно если нерешительность имела негативную окраску. Нерешительность других также могла подталкивать к каким-либо действиям, как это было в ситуации, когда Эпштейн искала новое место работы поближе к своему дому. В службе занятости завода им. Ворошилова она столкнулась с очередью женщин, надеющихся получить одну из новых вакансий. Мужчина, который отвечал за прием на работу, был не слишком вежлив и пунктуален, заставляя женщин подолгу ждать и нервничать. «Бюрократы несчастные, разве можно людей мучить, жен добровольцев», — записала в дневнике Эпштейн<sup>2</sup>. Как и многие другие, она списывала эту несправедливость на войну («война, надо терпеть», «Но миримся со всем, ведь война»)<sup>3</sup>.

*Уроки ленинградской блокады для советской истории,  
самостоятельности выбора и «истории»*

В одном очерке невозможно ответить на все вопросы и проанализировать все противоречия, и, возможно, здесь мы больше ставим исследовательскую задачу, чем решаем. Однако некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Судя по воспоминаниям ленинградцев, в блокадном городе можно было наблюдать все три парадигмы поведения. Логика рассуждений Эпштейн не так сильно отличается от воспоминаний других участников этой войны. Восприятие людей войны, страдания и их самостоятельность выбора определялись некоторыми фундаментальными факторами, едиными для всех. Вот несколько предварительных выводов.

Во-первых, *самостоятельность выбора является переменной, которая не является целиком зависимой от ситуации*. Утверждение С.В. Ярова о том, что серьезные лишения порождали нерешительность, очевидно находит подтверждение в истории блокады. Страдания

<sup>1</sup> См. ЦГАЛИ СПб. Ф. 107. Оп. 3. Д. 323. Л. 86–89.

<sup>2</sup> Там же. Л. 22.

<sup>3</sup> Там же. Л. 24, 25.

и различные испытания могут побудить людей выйти из нерешительности — не только физический инстинкт выживания, но также чувство справедливости или вины может вернуть способность действовать самостоятельно. Нерешительность не является состоянием природы; она возникает в результате сильных перекосов во внешнем мире человека, будь это материальные лишения или нечестное поведение власти. В действительности об этом говорят и исследования беспомощности: нерешительность происходит от продолжительного пребывания в подчиненном и угнетенном состоянии. Апатия не является естественной формой человека в нормальной жизни<sup>1</sup>.

Во-вторых, *героизм и оппортунизм являются двумя сторонами одной медали*. Концепции героизма и оппортунизма, как было отмечено выше, предполагают сохранение самостоятельности выбора. Остается непонятным, ориентированы ли индивидуальные действия на эгоистичные интересы, благосостояние других или нематериальные нормы. Социальные и гуманитарные науки все еще не договорились по поводу того, как относятся друг к другу материальное и идеальное: неомарксисты до сих пор подчеркивают роль материальной стороны жизни, а неодюркгемианцы — роль культуры. Понятно, что оба фактора переплетаются в реальности, но как? Изучение опыта блокады может пролить свет на эту проблему. До какой степени нормы продолжают действовать в условиях вызванных войной сильнейших материальных лишений и ограниченного действия государственных институтов контроля? Зависят ли оппортунизм и нормативное поведение — частным случаем которого является героизм — от контекста? В какой степени важно то, как люди видят и интерпретируют войну — влияют ли идеи в той же степени, что структуры и материальные условия? В любом случае парадигмы оппортунизма и героизма вряд ли возможно четко разграничить — для блокады, войны в целом, советской системы и того, как люди проживают «историю». В конечном счете обе парадигмы подчеркивают способность людей активно сопротивляться силам истории — хотя это не означает, что данные действия всегда приводят к изменению последней. Скорее, история становится результирующим вектором бесчисленного количества действий. Историческая телеология вряд ли совместима с данными парадигмами — к неудовольствию пропагандистов различных режимов и эпох.

В конечном счете, *мы можем использовать для объяснения не одну парадигму, а последовательность парадигм*. Когда начинают разворачиваться такие серьезные исторические события, как полномасштабная

---

<sup>1</sup>John Gaventa. Power and Powerlessness. Urbana: University of Illinois Press, 1982.

война, немедленной реакцией людей является ощущение самостоятельности выбора и героизм. Человек чувствует себя готовым действовать, движимый сочетанием патриотизма, морального негодования по отношению к агрессору и демонстративной храбрости. По мере нарастания реальных потрясений и страданий военного времени люди становятся дезориентированными — реальной становится не предполагаемая победа, а реальный ад войны и угроза поражения и завоевания (или уничтожения) противником. Все это ведет к нерешительности. При этом некоторые люди могут оставаться в данном состоянии довольно долго, но другие постепенно возвращаются к самостоятельному поведению, и здесь вновь возникает выбор между героизмом и оппортунизмом. Что влияет на конкретную динамику поведения отдельного человека? Я подозреваю, что частично это объясняется социальными отношениями, в которые вовлечены люди. Близкие отношения, которые в значительной степени управляются нормами, я подозреваю, гораздо в большей степени способствуют формированию героического поведения. Отношения, в которых доминирует оппортунизм в конечном счете, также ведут к оппортунизму. Например, школьные учителя в блокаду были склонны к коллективному, нормативному поведению, а управленцы и работники, причастные еще в мирное время к теневой экономике и распределению материальных благ, были более склонны к оппортунизму. Именно об этом свидетельствуют те данные, которыми мы сейчас располагаем, хотя для окончательных выводов, возможно, этих данных еще недостаточно.

В мирное время люди проживают свою жизнь неким традиционным образом, но военные события, которые ставят обычную жизнь с ног на голову, в явном виде пробуждают самостоятельность выбора<sup>1</sup>. Существующие парадигмы поведения во время блокады проливают свет на то, как люди реагируют на те или иные события — как они их интерпретируют и формируют соответствующую реакцию. На грани пропасти люди осознают, кем они являются на самом деле. Именно поэтому сложная история жизни во время ленинградской блокады может рассказать нам немало о войне, выживании, советской системе и природе человеческого поведения и человеческой истории.

*Перевод с английского М.А. Сторчевого*

---

<sup>1</sup> *William H. Sewell, Jr. Logics of History: Social Theory and Social Transformation. Chicago: Chicago University Press, 2005.*